

## **Россия в японском зеркале: модернизация и поиск идентичности. 1865–1905**

Российской элите в эпоху модернизации, подобно элите Японии того же периода, приходилось иметь дело с двоякой задачей модернизации страны и определении такой идентичности, которая удовлетворяла бы ее потребность в самоуважении<sup>1</sup>. Столкнувшись с вызовом западной цивилизации модерна, сменяющие друг друга поколения российской элиты были вынуждены импортировать западные технологии, идеи и институты в целях защиты безопасности и независимости России. Но Россия пошла гораздо дальше такого прагматического заимствования. Со времен Петра Великого российская элита в своем большинстве ощущала себя частью «Европы». Такая позитивная идентификация с «Европой» и с «Западом» обычно укреплялась, когда Россия достигала высокого положения в семье народов или была на пути к достижению такого статуса. При этом, однако, обширные заимствования с Запада могли рассматриваться как унижительные с точки зрения национальной гордости. Когда ожидалось, что Россия не сможет достичь в мире, где доминирует Запад, такого положения, которого она заслуживает, некоторые российские элиты сдвигались в направлении переоценки своих идентичностей и утверждения таких альтернативных ценностей, в соответствии с которыми России предоставлялась более почетная позиция. Такой процесс переопределения идентичностей и ценностей также оказывал серьезное влияние на направление внутренней и внешней политики России.

В настоящей статье рассматривается эволюция российских идентичностей и те следствия, которые она имела для внешней политики России в период между Крымской и Русско-японской войнами – с акцентом на параллели и контрасты, прослеживающиеся при сопоставлении с опытом модернизации в Японии. Для этого удобнее всего начать с грубой общей характеристики некоторых контрастов между теми путями, на которых Россия и Япония формировали свои идентичности, столкнувшись с воздействием модерна западной цивилизации. В этой связи я также обсужу некоторые ключевые аспекты формирования российской идентичности в восемнадцатом и начале девятнадцатого столетия, поскольку события этого периода прямо воздействовали на российские идентичности в рассматриваемый период. К середине девятнадцатого века на российской политической арене появились и стали конкурировать между собой четыре различных определения идентичности. Далее прослеживается, как эти конкурирующие идентичности отражались в отношениях России с миром в период между Крымской и Русско-японской войнами. Я покажу, что хотя попытки обеспечить

<sup>1</sup> Приводимые аргументы в значительной мере почерпнуты из моей неопубликованной диссертации «Либеральный миропорядок и те, кто бросал ему вызов: национализм и подъем антисистемных движений в России и Японии, 1860–1950-е годы» [30].

*Тадаси Анно*, доктор политологии, ассоциированный профессор в Университете «София» (Токио) по политическим наукам и по международным отношениям. E-mail: t-anno@sophia.ac.jp



безопасность, процветание и позитивный образ страны в евроцентрическом мире часто вызывали разочарование, они одновременно вели российскую элиту к изобретению новых способов осмысления России, ее отношений с Западом и места страны в окружающем мире. В заключительной части я кратко вернусь к сопоставлению России и Японии, размышляя о тех исторических ролях, которые играли эти две страны в XX веке.

### **Ответы Западу: российская и японская модели**

Россия и Япония – «незападные» страны в том смысле, что образованные элиты в каждой из них традиционно противопоставляют свою страну Западу и рассматривают ее как лежащую за его пределами. Они также сходны в том, что активно занимались заимствованиями с Запада и сформировались как великие державы и как центры экономической активности много раньше, чем другие «незападные» страны<sup>1</sup>. Реформы Петра Великого и реформы императора Мэйдзи в Японии часто приводятся как типичные примеры вестернизации и «модернизации сверху». Сходства, среди прочего, включают длительную поездку высших политических руководителей в Европу, выдающуюся роль, сыгранную иностранными советниками, успех военной модернизации и военную победу над европейскими великими державами. Более того, в процессе массированного заимствования с Запада элиты в обеих странах страдали от широко распространенного чувства неполноценности по отношению к нему. Попытки справиться с этой проблемой и сохранить перед лицом такого вызова чувство национального «самоуважения» образуют третью параллель между Россией и Японией. И тем не менее, когда мы сравниваем отношения России с модернизированным Западом и соответствующий опыт Японии, явно выделяются три различия.

Первый и наиболее очевидный момент заключается в том, что Россия в широком смысле принадлежит Европе, тогда как Япония – нет. Ядро российского населения относится преимущественно к славянской, «кавказской» расе<sup>2</sup> и говорит на одном из индоевропейских языков. Российская цивилизация развилась главным образом на основе греко-римской и иудео-христианской традиций. Хотя византийское влияние поставило Россию особняком по отношению к странам Западной и Центральной Европы, однако в терминах мировой истории Россия все же явно принадлежит «Европе» в широком смысле этого слова, и поэтому ее положение по отношению к тому, что стало называться «Западом», оказалось двусмысленным. В отличие от Японии и многих других стран Азии и Африки Россия была такой «не-западной» страной, в которой в принципе можно было представить себе полную интеграцию в состав Запада даже в то время, когда расовые и религиозные различия были гораздо более значимыми, чем сейчас. Как мы увидим, такая возможность полной интеграции в состав Запада придавала специфическую окраску отношению к нему российской элиты.

Второе главное отличие России от Японии заключается в том, что в то время как современная идентичность Японии понимается в контексте *триады*, включающей в себя Японию, «Запад» и «Азию», российская идентичность была определена преимущественно в рамках *диады* «Россия и Запад». Россия

<sup>1</sup> В общем плане вопрос о сопоставимости модернизационного опыта России и Японии рассматривается в [32].

<sup>2</sup> Термин «кавказская раса» достаточно широко применяется за рубежом для обозначения европеоидов, представителей «белой» расы. В России такое словоупотребление известно только профессионалам, практически не встречается и воспринимается широкой публикой как курьез; о кавказской расе по-русски если и говорят, то только применительно к «малой расе» – жителям Северного Кавказа, да и то далеко не всем. – *Примеч. перев.*

и Япония сходны в том, что обе страны формировались на периферии великих имперских цивилизаций (Византии и Китая)<sup>1</sup>. В силу расовой и цивилизационной близости китайская Восточная Азия и православное славянство (Slavdom) стали для японцев и русских в современную эпоху важными «идентификационными адресами». Однако роль православного славянства для современных российских идентичностей отличалась от той роли, которую играла (Восточная) Азия в формировании идентичностей Японии.

В то время как Китай благополучно вошел в эпоху модерна как центр восточноазиатской цивилизации, Япония оставалась периферийным государством китаецентричного мира вплоть до середины XIX века, когда ее силой вынудили открыться западному влиянию. Даже в эпоху модернизации Япония оставалась относительно небольшим образованием по сравнению с Китаем и Восточной Азией – по крайней мере по территории и численности населения. По этой причине «Азия» оставалась для японской элиты уместной и правомерной точкой отсчета. Напротив, османское завоевание Византии в XV веке сделало Россию естественным центром православной славянской цивилизации<sup>2</sup>. К тому же Россия в своей цивилизационной сфере была намного более обширной и населенной страной. По этой причине православное славянство за пределами России не имело того веса, который имела «Азия» в определении современной японской идентичности.

Азия для вступающей в современность Японии была не только идентификационным адресом – тем регионом, к которому принадлежала страна, – но также и *референтной группой, с которой Япония сверяла свои достижения*. С конца XIX и на протяжении всего XX века японская элита тяготела к тому, чтобы оценивать место Японии в мире, ссылаясь как на Запад, так и на Азию (остальную ее часть)<sup>3</sup>. В триадическом контексте Япония чаще всего рассматривалась как страна хотя и «отсталая» по сравнению с наиболее передовыми западными государствами, но явно более передовая по сравнению с остальной частью Азии<sup>4</sup>. У многих японцев мысль о том, что Япония «превосходила остальную Азию» вызывала гордость, и это способствовало компенсации того чувства неполноценности, которое многие японцы испытывали перед лицом Запада, и тем самым смягчала отторжение вестернизации<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Мариус Джэнсен, один из ведущих американских японистов второй половины XX века, предположил, что предшествовавший опыт массированного заимствования из Византии и Китая в последующем облегчил обеим странам заимствование с Запада [42, р. 18–48].

<sup>2</sup> Отчасти благодаря деятельности выходцев с Балкан – таких, как Юрий Крижанич, который призывал Москву играть ведущую роль в православном мире, Москва «начала ощущать себя центром мира, призванным выполнить великую миссию» [8, с. 43; обратный перевод с англ.].

<sup>3</sup> Об этом свидетельствует начавшееся с конца XIX века и продолжавшееся до середины XX века распространение в японском языке выражения «впервые на Востоке» (東洋一). Японец эпохи модернизации, несомненно, гордился тем, что он «номер один в Азии». А вот для модернизировавшейся России славянский мир такой роли в ее самооценке никогда не играл.

<sup>4</sup> Мияке Сецурэй, один из наиболее влиятельных японских мыслителей 1880–1930-х годов, писал в 1913 году в своем обзоре интеллектуальной истории эпохи Мэйдзи: «Если Европа – это произведение искусного ремесленника, то Япония часто выглядит как грубо сработанный продукт. Но для практических целей низкокачественные товары вполне подходят, и различие в качестве не меняет сущностной равноценности Японии и Европы. См. [10, с. 399–400].

<sup>5</sup> Такое отношение в сжатом виде выражено в широко известном лозунге *datsu-a луи-о* («выход из Азии, вход в Европу»). В этом лозунге стремление Японии достичь полного равенства (и даже интеграции) с Западом объединено с представлением о превосходстве Японии над Азией, из которой она «выходит». См. [15, с. 9–79].

Вестернизации Японии способствовала также та символическая роль, которую играл император. С того момента, когда класс воинов-самураев «узурпировал» в XII веке реальную власть, отобрав ее у императора и двора, японский император был отстранен от коридоров власти. А это означало, что когда Япония эпохи Токугава столкнулась с влиянием Запада, император, будучи дистанцирован от сёгуната, мог быть использован как символ радикальных реформ сложившегося статус-кво. И поэтому вестернизационные реформы в Японии были проведены под знаменем имперской «реставрации». Эта идея реставрации имперской власти снабдила японских реформаторов великолепным идеологическим прикрытием. Откуда бы императорская семья ни вела свою родословную, ее «японскость» была бесспорным «фактом». В той мере, в какой вестернизационные реформы эпохи Мэйдзи проводились во имя императора, нападать на их общие направления как на «измену» национальной традиции было невозможно.

В отличие от той роли, которую в формировании японской идентичности играла Азия, православное славянство было для русской элиты всего лишь идентификационным адресом, но не референтной группой, по которой Россия сверяла бы свои достижения<sup>1</sup>. Для большей части элиты модернизировавшейся России позиция страны в мире оценивалась в диадическом контексте, включавшем в себя Россию и Запад. Православное славянство было просто расширением самой России – а не той сущностью, с которой Россия могла бы сравниваться или которой она могла бы противопоставляться. Конечно, «Азия» или «Восток» иногда действительно оказывались чрезвычайно значимыми в российском воображении – как цивилизационное «другое», по отношению к которому подчеркивается принадлежность России Западу, или же как некий идентификационный адрес [59; 67]<sup>2</sup>. Но «Азия» не занимала такого места в русском мировидении, какое она занимала в японском, а, следовательно, превосходства над Азией было недостаточно для того, чтобы компенсировать чувство неполноценности по отношению к Западу<sup>3</sup>. Народник Василий Воронцов, выступавший от лица тогдашней модернизационной элиты, писал: «Россия принадлежит семье цивилизованных наций... Это означает, что ее потребности и формы их удовлетворения должны соизмеряться не с ее собственной отсталой культурой, а с теми формами, которые вывела и внедрила в практику Западная Европа [4, с. 194]. Иными словами, в качестве способа справиться с чувством неполноценности перед лицом Запада манипуляция с исходным пунктом оценки («Мы не столь хороши, как Запад, но лучше, чем ХУ») не была настолько же легко доступной для модернизационно настроенной российской элиты, как для элиты японской.

Российские вестернизаторы (западники) были дополнительно обременены тем обстоятельством, что вестернизаторство могло рассматриваться как

<sup>1</sup> В японском языке слово «Азия» (Аjia), подобно слову «Европа» в британском английском, может обозначать как обширный географический регион, включающий в себя Японию, так и тот же самый регион за вычетом Японии. Напротив, представить себя «славянство» без России трудно.

<sup>2</sup> См. также ниже – «Разворот России в сторону Востока».

<sup>3</sup> Это не столь удивительно в случае западников наподобие Чаадаева, который ехидно замечал, что роль России в Азии пока что сводилась к тому, чтобы цивилизовать «мастодонтов и других ископаемых жителей Сибири». Но ведь даже генерал Александр Киреев, известный славянофильскими взглядами, утверждал, что русские на должны удовлетворяться «выполнением цивилизационной функции по отношению к хунхузам [китайские бандиты на русско-китайской границе] и тем самым выступать в качестве терпимых, но неполноценных пристяжных западной культуры. Чаадаев цитируется в [47, р. 49f.], а Киреев – в [51, р. 91]. [Здесь цитируется – не совсем точно – письмо П.Я. Чаадаева А.И. Тургеневу. – Примеч. перев.]

измена исконным русским традициям. В противоположность японскому императору, царь был верховным правителем России задолго до того, как страна при Петре Великом повернулась к Западу. К XVI столетию Московия сформировалась как центр гордой православной цивилизации, самодержавно управляемый царем. Разворот Петра Великого на Запад никакой «реставрацией» не был. Напротив, он легко мог трактоваться как измена более древней, более подлинной русской традиции [61]. В отличие от японской императорской фамилии, русская не имела возможности поставить на вестернизационных реформах национальную, монаршую печать легитимности. Напротив, «германизация» династии Романовых после Петра III делала императорскую фамилию в глазах нарождающегося русского национализма все более подозрительной.

Однако ни недоступность альтернативной референтной группы, ни отсутствие «монаршей печати легитимности» не обрекали с неизбежностью вестернизационные реформы на неудачу. Когда позиция России в международном евроцентрическом порядке быстро улучшалась или когда Россия занимала в этом порядке высокое место, угроза культурной автономии, обусловленная интенсивным заимствованием с Запада, более чем компенсировалась выигрываемым в международном положении страны. Например, в течение большей части XVIII века позиция России в международном сообществе значительно улучшалась. Разгромив Швецию в Великой Северной войне, Россия присоединилась к системе европейских государств как полноценная великая держава. Прагматичная и выборочная вестернизация петровской эпохи расширилась в последующие десятилетия до практически всеобъемлющей культурной вестернизации элиты. Петр, а позднее Екатерина Великая приветствовались как просвещенные правители, которые трансформировали колоссальную, но нецивилизованную страну в цивилизованное европейское государство. Улучшение позиций России в «семье цивилизованных наций», подтвержденное такими европейскими светилами, как Вольтер и Дидро, создавало у новой, вестернизированной элиты стимулы к тому, чтобы гордиться Россией и ее вестернизацией [39]. Начиная с 1721 года российские правители добавили к традиционному титулу «царь» титул «император». Это означало, что царь, в дополнение к позиции лидера православного христианства, присоединился к клубу великих европейских монархов<sup>1</sup>. Само имя страны (*Русь*) было заменено на латинизированное *Россия* [22]. Подавляющее большинство образованной элиты в России XVIII века позитивно оценивало цивилизационное и международное продвижение страны, принимая при этом ценностные критерии, приносимые мыслью эпохи Просвещения [63].

Французская и промышленная революции конца XVIII века были событиями всемирно-исторического значения, и они потрясли основы международного порядка. Эти события тоже глубоко повлияли на восприятие Россией себя и собственной идентичности. До Французской революции автократия не обязательно рассматривалась как антитеза «цивилизации» или «прогрессу». Если автократические правители были ведомы идеями Просвещения, то считалось, что такая автократия может быть благоприятной для распространения цивилизации [понимаемой здесь скорее как цивилизованность. – *Примеч. перев.*] [60, с. 19–22]. После Французской революции, однако, «цивилизация» и «прогресс» стали ассоциироваться с конституционным правлением, либерализмом и даже

<sup>1</sup> Интересной японской параллелью является тот факт, что между 1874 и 1936 годами император в японских дипломатических документах назывался не словом *tenno*, зарезервированным для императора Японии, а словом *Kotei*, представляющим собой родовое обозначение иностранных императоров. Так же, как русский царь принял дополнительный титул императора, поскольку Россия присоединилась к системе европейских государств, японский император, по крайней мере в дипломатических целях, стал императором, равным императорам Германии или Австрии. См. [19, с. 40–47].

с еще более радикальными идеями. Влияние этого изменения на Россию было двояким. Во-первых, типичное для эпохи модерна политическое соперничество между «левыми» и «правыми», между «прогрессистами» и «консерваторами» возникло и в Европе, и в России. Во-вторых, Французская революция повлияла как на позицию России в мировом сообществе, так и на ее образ в глазах европейцев. Хотя Россия как главный победитель в наполеоновских войнах сделалась «*вершительницей судеб Европы*»\* [здесь и далее выделенные курсивом и отмеченные звездочкой слова в английском оригинале приводятся по-русски. – *Примеч. перев.*], она стала рассматриваться еще и как бастион европейской реакции. Таким образом, международный образ России, измеряемый стандартами западных прогрессистов, заметно ухудшился [54, р. 87–159]. Более того, начало промышленной революции увеличило экономический разрыв между Россией и ведущими западными странами и тем самым сократило ее военную мощь, по крайней мере в сравнительных терминах.

По мере того, как положение России в международном сообществе в первой половине XIX века стагнировало и постепенно ухудшалось, ощущение «отсталости» страны по сравнению с Западом начинало все больше беспокоить российскую элиту, а идея о том, что Россия должна следовать по пути передовых европейских стран, стала все чаще подвергаться сомнению. Поскольку манипуляция с «исходным пунктом оценки» для российской элиты была затруднена, более характерным для нее способом защиты самоуважения стал поиск, когда в этом возникала необходимость, неких ценностных критериев для ранжирования цивилизаций<sup>1</sup>. В.В. Берви-Флеровский, экономист народнической школы, объяснял это в следующих словах [здесь и ниже цитата в обратном переводе с английского. – *Примеч. перев.*]: «Если мы продолжим двигаться по западному пути, который мы в свое время избрали, нам придется всегда плестись в хвосте цивилизованного мира... Такая ситуация не может не смущать национальную гордость любого русского». Берви-Флеровский переходил к атаке на современную европейскую цивилизацию и настаивал на том, что Россия должна двигаться к цивилизации по какому-то иному, лучшему пути. «Мне кажется, – рассуждал он, – что единственный для нас выход заключается в осуществлении великой идеи – идеи, которую еще ни один народ даже не пытался воплотить на практике» [2, с. 561 и сл.].

«Западная цивилизация обладает материальным преимуществом. Но наша цивилизация богаче духовно. И духовное превосходство выше материального превосходства. Таким образом, в целом наша цивилизация лучше» [69]. Такого рода идейные построения, имеющие целью психологическую компенсацию, многократно воспроизводятся в процессе интеллектуальной истории России. Однако в то время как интеллектуалы в Китае, Индии или Персии тяготели к противопоставлению своих «великих традиций» материалистическому вырождению Запада, это не вполне устраивало российскую элиту, поскольку западная цивилизация не была ей полностью «чужой» в том смысле, в каком Запад был чужим для элиты китайской, индийской или японской. Даже акцентируя различие между Россией и Западом, идеологи компенсации склонны были настаивать на том, что Россия представляет собой лучшую, высшую версию Запада. Французский историк попал в самую точку, заметив: «Вчера Россия говорила: “Я – это христианство”. Завтра она может сказать “Я – это социализм”»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Интересный анализ этого процесса содержится в [40, р. 549–591]. Следует заметить, что поскольку предмодернизационная японская элита искала определение идентичности Японии в рамках диады «Япония – Китай» и не имела возможности манипулировать с исходным пунктом, ею был разработан спектр идеологий, сконструированных для компенсации чувства неполноценности по отношению к Китаю. См. [18, с. 1–34].

<sup>2</sup> Цитируется в [46, р. 103].

Третье важное различие между Россией и Японией относится к тому воздействию, которое вестернизация оказала на разделение и стратификацию внутри страны. В силу географической, расовой, языковой и культурной дистанции между Японией и Западом степень «вестернизации» японской элиты до Второй мировой войны была весьма ограниченной, по крайней мере в сравнении с элитой российской<sup>1</sup>. Более того, благодаря быстрому развитию железных дорог, через обязательное обучение и всеобщую воинскую повинность то, что было привнесено с Запада, быстро распространялось на удаленные регионы и низшие слои общества. По этой причине процесс модернизации в Японии не вел к глубокому культурному разделению страны. Хотя прогрессисты часто критиковали японскую элиту за угнетение и скверное обращение с массами, «чуждыми» и «неяпонскими» элементами их все же называли редко. В России, напротив, влияние западной цивилизации распространялось гораздо неравномернее. В то время как крестьянские массы по большей части оставались под влиянием допетровской, православной цивилизации, в российскую элиту западные веяния проникали очень глубоко. Наличие иностранных нянь и учителей, а также непосредственное знакомство с Западом через путешествия и учебу за рубежом служили мощным проводником западного влияния и вели к возникновению элиты, отделенной от крестьянских масс глубокой пропастью.

Такое социокультурное разделение оказало важное влияние на формирование российских идентичностей. В течение XVIII века, когда Россия была склонна гордиться своей вестернизацией, образованная элита рассматривалась как ядро складывающейся русской нации. Крестьянские массы были в лучшем случае потенциальными ее членами<sup>2</sup>. К тому же, поскольку многие начали ставить под вопрос практику «рабского подражания Западу», категория *народ*<sup>\*</sup> стала превращаться в новый символ российской национальной идентичности. Значимость этой категории могла возрастать за счет нескольких факторов. Первый – это Отечественная война против наполеоновского вторжения. Второй – влияние романтизма, восславляющего простой народ как подлинного хранителя простых, здоровых истин. И все же главным фактором, объяснявшим обращение к *народу* как символу российской государственности, был, вероятно, поиск Россией новых ценностей, последовавший за ухудшением образа и позиции страны при измерении их по западным стандартам [39, p. 258].

В результате всех эти изменений к 1840-м годам появилось четыре примерных определения России. Хотя эти определения продолжали развиваться с изменениями обстоятельств, по-разному поворачиваясь и трансформируясь, основные характеристики российской идентичности, сформулированные в середине XIX столетия, оставались значимыми до самого его конца и в начале века следующего. Разработанное тогда четырехчленное разделение складывалось из простого перемножения двух политико-интеллектуальных противопоставлений, возникших в силу произошедших изменений: раскола между «прогрессистами» и «консерваторами», который является общей характеристикой

<sup>1</sup> Генри Розовски указывал на мощь японского «культурного барьера» с позиций исследователя экономической истории: «Двести лет изоляции придали стилю жизни такую прочность, что он не мог быть разрушен даже под мощным влиянием промышленной революции... В более экономических терминах это означало, что изоляция страны в эпоху Токугава создала эффективную защиту против разлагающего воздействия демонстрационного эффекта. В широкой линейке товаров, особенно предназначенных для повседневного пользования, пожелания потребителей по-прежнему были направлены на продукцию традиционных секторов» [65, p. 86].

<sup>2</sup> Даже Радищев, вероятно, самый суровый критик крепостного права в XVIII столетии, мог описывать крестьянские массы как «выючных животных» или «скотов», «неспособных быть гражданами и сынами отечества», поскольку они находятся в крепостном рабстве. Цит. в [44, p. 43].

современной эпохи, и разделения между «вестернизаторами» (западниками) и «нативистами» (сторонниками самобытности), представлявшими альтернативные способы артикулирования позитивного образа России в ее собственных глазах. Излишне говорить, что такие упрощенные, оперирующие идеальными типами схемы вряд ли могут быть истинными применительно к разнообразию и богатству тех мыслей относительно позиции России в мире, которые имелись у образованных русских того времени. И все же в целях предпринимаемого здесь макроисторического анализа обращение к таким упрощающим схемам неизбежно<sup>1</sup>.

Первую позицию можно обозначить как «монархический консерватизм» [в оригинале *dynastic conservatism*, дословно «династический консерватизм». – *Примеч. перев.*]. Консерваторы-монархисты являются монархистами и консерваторами в том смысле, что они поддерживают самодержавие и православие как оплоты российской идентичности и противостоят социализму, либерализму и в особенности революционным изменениям с целью воплощения их в жизнь. Хотя консерваторы-монархисты скептически относились к прогрессивным и радикальным идеям, исходящим с Запада, они не подчеркивали уникальность российской цивилизации в противоположность цивилизации западной. Напротив, они считали само собой разумеющимся, что Россия – это полноценный член семьи цивилизованных европейских наций. Россия была европейским государством, но Европа, к которой принадлежала Россия, была доброй старой консервативной Европой, в то время как либерализм, социализм и революция рассматривались ими в качестве угроз, общих как для России, так и для европейских государств. Перед лицом этих угроз Россия должна, согласно консерваторам-монархистам, сотрудничать с консервативными европейскими монархиями, включая Пруссию (Германию) и Австрию. Фактически монархический консерватизм коренился в традиции транснационального сообщества европейских монархий, и консерваторы-монархисты иногда тесно сотрудничали со своими единомышленниками в других странах [6, с. 50–65].

Возникновение в XIX веке категории *народ* как нового символа российской государственности было вызовом характерному для консерваторов-монархистов акценту на самодержавие как ядро российской идентичности. Ответом на этот вызов со стороны консерваторов-монархистов была теория «официальной народности», сформулированная при Николае I. Хотя эта теория включала в себя принцип *народности*\* как одну из трех своих опор (две другие – православие и самодержавие), *народность* для консерваторов-монархистов означала прежде всего лояльность народа по отношению к царю. Такое понимание народности не предполагало подчеркивания уникальности российской цивилизации или водружения *народа* на национальный пьедестал<sup>2</sup>.

Вторая позиция может быть названа либеральным прогрессизмом. Либеральные прогрессисты были вестернизаторами (*западниками*\*) в полном смысле слова. Согласно этой позиции, западные общества прогрессивно развивались от феодализма и абсолютизма прошлого к капитализму и либеральному конституционализму. Россия, в соответствии с таким взглядом,

<sup>1</sup> См. сходную типологию в [33, р. 357–393].

<sup>2</sup> Об этом свидетельствует тот факт, что М.П. Погодин, один из главных идеологов официальной народности, вполне мог сказать о народе следующее: «Удивителен русский народ, но удивителен только еще в возможности. В действительности он низок, ужасен, скотен». Необходимо, впрочем, отметить, что некоторые сторонники официальной народности трактовали народность по-другому, в результате чего их точка зрения приближалась к описанной ниже позиции «славянофилов-консерваторов». О доктрине официальной народности см. [58]. Погодин цитируется там на с. 99; предыдущая цитата дана по изд. [20, с. 34–35].



тоже с некоторой задержкой следует – и должна следовать – по аналогичной исторической траектории<sup>1</sup>. По мнению либеральных прогрессистов, Россия как цивилизованная европейская страна должна стремиться к построению либерального конституционного строя западного образца – с надлежащими модификациями. Идея о том, что Россия может предложить некую более высокую цивилизационную модель, – это опасная иллюзия. Россия просто находится на более ранней стадии исторического развития, и было бы абсурдным оправдывать российскую отсталость, видя в ней свидетельство каких-то уникальных российских достоинств<sup>2</sup>. Согласно цветистой формуле В.Г. Белинского, народность – это не «зипун, лапти, сивуха и кислая капуста»<sup>3</sup>. По мнению либеральных прогрессистов, никакого чудесного способа, который позволил бы России быстро избавиться от ее отсталости, не существует. Прогресс достижим только через постепенные реформы и образование, и направлять его может только образованная элита. Либеральные прогрессисты хотели видеть Россию в числе наиболее передовых, просвещенных стран Европы.

Идея о том, что у России нет иного выбора, кроме следования по западному пути прогресса, могла быть унижительной. Но для либеральных прогрессистов этот путь был единственным, следуя которому Россия могла достичь великого будущего<sup>4</sup>.

Третья позиция может быть названа славянофильским консерватизмом. Согласно данной позиции, Россия – это особая, отличная от Запада цивилизация. Консерваторы-славянофилы настаивали на том, что Россия не должна слепо следовать за Западом. При этом они отличались от консерваторов-монархистов тем, что их противостояние прогрессивным взглядам основывалось скорее на романтическом этнокультурном национализме, нежели на лояльности по отношению к династии Романовых. Переворачивая западные ценности с ног на голову, славянофилы настаивали на том, что Россия превосходит Запад как раз в силу тех своих качеств, из-за которых она обычно считалась «отсталой» страной. Пусть русские отставали в материальном плане, но зато они обладали уникальными духовными достоинствами, отсутствующими у западных народов. Эти духовные достоинства предположительно воплощались прежде всего в православной церкви и крестьянской общине.

<sup>1</sup> Для Тимофея Грановского, одного из наиболее выдающихся западников 1840-х годов, Запад медленно, но твердо продвигается по пути прогресса, тем самым указывая путь остальному человечеству, включая Россию. Такой же взгляд на будущее был характерен для следующего поколения западников, включая Константина Кавелина, Бориса Чичерина и Василия Ключевского. Сходным образом Михаил Стасюлевич, редактор наиболее влиятельного западнического журнала второй половины XIX века «Вестник Европы», хотел видеть «исчезнувшими все границы, разделяющие Европу». См. [16, с. 129, 308, 322].

<sup>2</sup> В своем знаменитом письме в еженедельник Александра Герцена «Колокол» Кавелин и Чичерин констатируют: «Мы с горестью сознаем, что несмотря на внешнее наше величие, мы перед народами европейскими все еще ученики. Мы видим, что еще много и много нам предстоит работы прежде, нежели мы в состоянии будем померяться с этими могучими бойцами, владеющими всеми средствами образованного мира» [9, с. 21].

<sup>3</sup> *Белинский В.Г.* Сочинения Александра Пушкина. Статья восьмая. В оригинале не совсем дословно цитируется по [72, р. 131].

<sup>4</sup> В качестве типичного примера может быть приведено замечание Петра Струве, хотя оно и относится к более позднему периоду: «Вся современная материальная и духовная культура тесно связана с капитализмом: она выросла или вместе с ним, или на его почве. Мы же, ослепленные каким-то непомерным национальным тщеславием, мним заменить трудную культурную работу... построениями нашей собственной «критической мысли»... Нет, давайте признаем нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму» [21, с. 288]. В оригинале цитируется английский перевод по изданию [48, р. 30].

В отличие от монархического консерватизма, консерватизм славянофильский в качестве символа российской цивилизации интересовался скорее простым народом, чем царем. Однако в глазах славянофилов простой народ не был антитезой царю. Славянофилы постоянно повторяли, что для российской политики характерен «добровольный союз» между народом и царем. Для славянофилов «русское» политическое сообщество включало русских крестьян, купцов и ремесленников, церковников, царя и, возможно, православные народы Юго-Восточной Европы. Подозрительной, с точки зрения славянофилов, была «онемеченная» бюрократия<sup>1</sup> и вестернизированная интеллигенция. Позднее очень существенной мишенью для исключения стали евреи.

Четвертую позицию можно назвать критическим прогрессизмом. В эту категорию попадают многие из так называемых западников середины XIX века (Александр Герцен, Николай Чернышевский и др.) и большинство более поздних интеллектуалов-социалистов (большая часть народников, многие из марксистов). Подобно либеральным прогрессистам, эта группа оставалась приверженной идеалу «прогресса». Не желая присоединяться к славянофилам в их восхвалении прошлого времен Московии, критические прогрессисты искали решения российских проблем в «просвещении» и «прогрессе». Однако в отличие от либералов критические прогрессисты перестали верить в западную капиталистическую модель. Они отказывались от капитализма в пользу социализма, доказывая, что капитализм принесет массе населения невыносимую нищету. Более того, критические прогрессисты отвергали капитализм не только как конечную цель исторического прогресса, но также и как необходимый, пусть и тяжелый этап, который должен быть пройден по пути к социалистическому будущему<sup>2</sup>. Но как могла Россия достичь прогресса без копирования западного капитализма или даже прохождения сквозь него? Был ли «прогресс» не равносильным вестернизации?

Ответ на этот вопрос указывала герценовская идея крестьянского социализма. Согласно этой новой идее, существует способ, которым Россия сможет избежать бедствий капитализма. Крестьянская община, хотя сама по себе она является пережитком феодального прошлого, может послужить основой для будущего социалистического общества, коль скоро теперь стала доступной идея социализма. *Россия, обращая свою отсталость в преимущество, сможет миновать капиталистическую стадию и достичь стадии социалистической, причем предположительно раньше, чем более «передовые» западные страны*<sup>3</sup>. Несложно почувствовать уязвленную национальную гордость за этой претензией

<sup>1</sup> Этнические немцы были элитной стратой Балтийского региона еще со времен тевтонских рыцарей, и они стали играть непропорциональную их численности роль на гражданской и военной службе Российской империи после того, как этот регион был включен в ее состав при Петре Великом. К прибалтийским (остзейским) немцам добавились немцы, поступавшие на русскую службу. В 1855 году немцы составляли в Петербурге 8% чиновников, хотя их доля в общем населении империи была много меньше. См. [56, р. 208].

<sup>2</sup> Логически было возможно ненавидеть капитализм и все же принимать его как необходимую стадию на пути к социалистическому будущему. Такую позицию, основанную на гегелевском рационалистическом понимании истории, занимал Белинский. Но, несмотря на гегельянскую убежденность относительно исторических стадий, он затруднялся принять «стяжательскую» ментальность буржуазии. См. [72, р. 144–147]. Сходным образом, в случае Георгия Плеханова, «отца русского марксизма», догматическая марксистская вера в «законы» исторического развития позволяла ему поддерживать развитие капитализма в России, несмотря на опасения по поводу такового развития. Эмоционально, однако, проще было отвергать капитализм не только как конечную цель, но и как промежуточный пункт на пути к ней.

<sup>3</sup> Краткое описание развития этого мотива «преимущества отсталости» в интеллектуальной истории России дано в [71, р. 116–117].

на то, что Россия сможет пройти по исторически новому пути прогресса и в итоге обогнать Запад<sup>1</sup>. В этой теории уникального исторического пути к социализму критические прогрессисты видели способ примирить утверждение уникальных российских достоинств с прогрессивными, европейскими убеждениями.

Четыре очерченные выше позиции можно представить схематически (см. рис. 1).

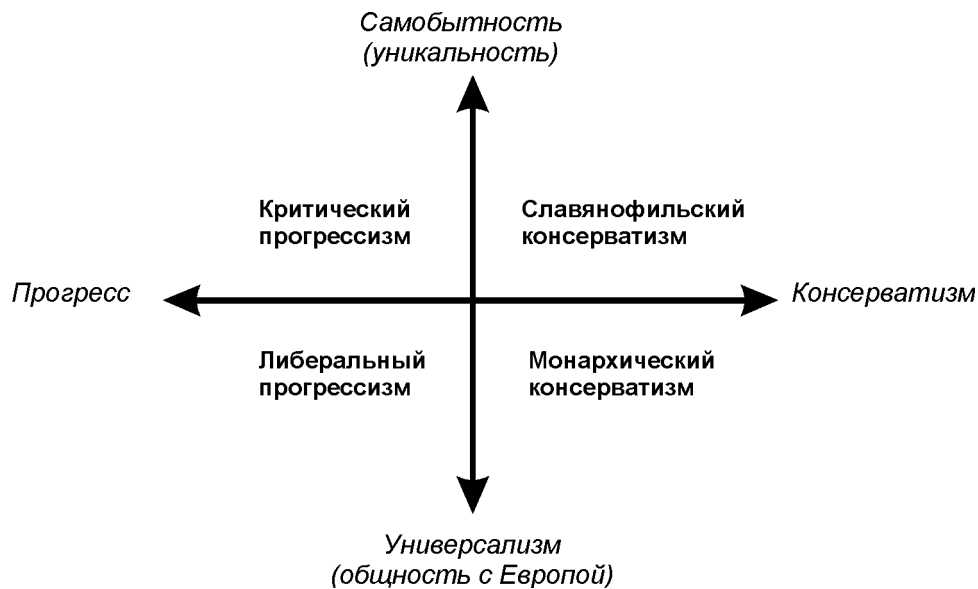


Рис. 1. Определения национальной идентичности в России в середине и второй половине XIX в.

### **Модернизация и поиск идентичности в России (1856–1905)**

При Николае I в российской политике доминировало направление монархического консерватизма. Подавив в самом начале своего правления восстание декабристов, Николай стремился сдерживать в зародыше любое движение за политические реформы, усиливал цензуру и даже запретил использование в печати таких слов, как «прогресс» и «революция». Николай был твердым сторонником легитимизма во внешней политике и старался сдерживать распространение либерализма и национализма посредством сотрудничества с такими консервативными монархиями Европы, как Пруссия и Габсбургская империя. Император Николай I был также против индустриализации России, исходя из опасений, что развитие промышленности породит класс пролетариев и тем самым подорвет политическую стабильность. Такая последовательная и бескомпромиссная политика консерватизма всячески препятствовала решению проблемы растущей экономической отсталости России по сравнению с индустриальными странами Запада. Поражение России в Крымской войне ярко высветило все слабости такого гиганта, как Россия. Против британских и французских паровых кораблей Российский флот

<sup>1</sup> В дополнение к приведенной выше цитате из Берви-Флеровского, можно процитировать экономиста-народника В.П. Воронцова, который завершил одну из глав своей книги, посвященной неизбежности некапиталистического пути развития России, следующими словами: «Будем надеяться, что именно Россия и есть та страна, которая послужит ему [западному рабочему] образцом при его реорганизационной работе, что ее историческая миссия заключается в осуществлении равенства и братства, если уж ей не суждено бороться за свободу» [3, с. 124].

выставил всего лишь парусные суда. Российские гладкоствольные орудия не выдерживали никакого сравнения с нарезными орудиями противников. К началу войны у России было всего 1600 км железных дорог, а сражение в Крыму происходило на удалении 1200 км от ближайшей железной дороги. И хотя боевые действия велись на территории России, страна испытывала во время этой военной кампании гораздо большие логистические проблемы, нежели французы или англичане [52, р. 37]. По словам Михаила Рейтерна, министра финансов Александра II, «Крымская война показала, что без железных дорог и механизированной промышленности Россия не в состоянии защитить даже свои нынешние границы» [5, с. 31].

Поражение в Крымской войне стало поворотным моментом в истории России, так как именно в результате него Россия столкнулась лицом к лицу с фактором Великой промышленной революции. Это поражение низвело «хозяйку судеб Европы» до уровня отсталой великой державы. Это поражение и кончина императора Николая I открыли возможности для новых идей касательно воздействия на государственную политику. В течение последующих пятидесяти лет государственная политика оказалась под влиянием целого спектра взглядов на российскую идентичность. Политическая и интеллектуальная история России этого периода содержит последовательные попытки найти решение для тех двух задач, перед которыми стояла Россия, а именно – задача модернизации страны и задача формулирования такой идентичности, которая бы отвечала потребности страны в самоуважении. Хотя поиск этих решений не привел к ясному и удовлетворительному ответу, он породил некоторые творческие соображения, которым было суждено сыграть важную роль в XX веке.

**Либеральная реформа в России.** Еще до поражения в Крымской войне в недрах российского государственного аппарата возникли новые политические силы, ратовавшие за реформы [26, с. 14–48; 52, р. 32–58]. После этого поражения реформаторы из армейских кругов сразу стали выступать за освобождение крестьян, аргументируя это тем, что армия, состоящая из крепостных, неспособна противостоять современным вооруженным силам Европы. Повестку реформ поддержали также некоторые судьи и высокопоставленные государственные деятели. Эти реформисты были по большей части привержены идее сохранения монархии Романовых и не разделяли конституционных чаяний прогрессистов либерального толка. И тем не менее они полагали, что для того, чтобы Россия могла оставаться великой европейской державой, ей необходимо привести свои социальные, экономические и административные институты в соответствие с западными нормами.

В конце 1850-х и в 1860-х годах реформистские силы вышли на центральное место в формировании политики, будучи поддержанными императором Александром II, который разделял их озабоченность в отношении экономической и военной мощи России [62, р. 78–80]. Либеральные настроения среди государственного аппарата прекрасно отражены во взгляде на европеизацию министра образования А.В. Головнина. В трактате, написанном в конце 1850-х годов, Головнин превозносил «успехи просвещения, достигнутые народами Западной Европы», и утверждал: «...вполне понятно, что те, кто имел возможность ознакомиться с этими преимуществами, этими результатами цивилизации и кто знаком с нынешним состоянием России, от всего сердца желают, чтобы их Родина также ими воспользовалась»<sup>1</sup>. Подобные взгляды на исторический прогресс и вестернизацию разделяли и другие реформисты, как, например, министр финансов Михаил Рейтерн и военный министр Дмитрий Милютин<sup>2</sup>. Летом

<sup>1</sup> Цит. по [26, с. 35].

<sup>2</sup> Милютин верил во «всеобщие законы» исторического прогресса и считал, что

1856 года один высокопоставленный чиновник в Министерстве юстиции писал: «В нынешней атмосфере все – либералы, некоторые искренне, а другие только делают вид»<sup>1</sup>.

Своего апогея «либеральные» реформы в России достигли в период с 1856 по 1863 год. Самой значительной реформой стала, конечно, отмена крепостного права в 1861 году. Ввиду того, что крепостное право занимало центральное место в дореформенном социальном устройстве России, его отмена должна была сопровождаться реформами в других областях, включая военную реформу, судебную реформу и реформу местного самоуправления. В 1863 году была отменена предварительная цензура печати. Чтобы облегчить проведение внутренних реформ, российское правительство заняло и очень осторожную внешнеполитическую позицию. Знаменитый циркуляр министра иностранных дел Александра Горчакова от 21 августа 1856 года констатировал, что Россия готова будет предпринимать какие-либо военные действия за пределами своих границ, «только когда несомненные интересы России безусловно этого потребуют»<sup>2</sup>. Политику Горчакова поддержали военный министр Дмитрий Милютин и министр финансов Рейтерн [12, с. 221–238]. Примечательным стал и отказ от «легитимистской» ориентации во внешней политике. В отличие от предыдущего периода российское правительство в первые годы после Крымской войны стало сотрудничать с Францией Наполеона III, то есть с режимом, который Николай I не признавал, считая его нелегитимным. Более того, в союзе с Францией Россия оказывала поддержку национально-освободительным и национально-объединительным движениям в Румынии, Сербии и Италии [43, р. 136–147]. Помимо поддержки национальных движений за границей, проводилась сравнительно либеральная национальная политика внутри самой Российской империи<sup>3</sup>. Либеральное направление вторглось также в сферу экономической политики, что выразилось в сокращении расходов на государственные отрасли промышленности и в торговой политике [14, с. 324–327].

Таким образом, в 1856–1863 годах российское правительство проводило ряд относительно «либеральных» реформ. При том что эти реформы осуществлялись в первую очередь ради усиления мощи России, они были важны как с точки зрения ее международного имиджа, так и с точки зрения самоидентификации. Интерес российского правительства к тому, что думают о нем в Европе, делается очевидным из того факта, что основные политические инициативы зачастую впервые объявлялись за границей, в Европе, до того, как их обнародовали в России<sup>4</sup>.

Великие реформы 1850–1860-х годов сравнимы с почти современными им реформами Мэйдзи в Японии в том, что и те, и другие были реформами «сверху», вызванными военным поражением в противостоянии западным державам; и те, и другие устранили жесткие социальные барьеры и заложили

западноевропейские государства (в частности Англия) представляют собой образцы для будущей эволюции России. С его точки зрения, любая реформа должна начинаться с изучения иностранных образцов. Сходным образом и Рейтерн подчеркивал необходимость учиться на западном опыте [45, р. 453].

<sup>1</sup> Кастор Никифорович Лебедев, цит. по [6, с. 194].

<sup>2</sup> Цит. по [23, с. 210].

<sup>3</sup> Краткий обзор национальной политики в позднеимперской России см. в [63, р. 182–207].

<sup>4</sup> Например, первая декларация о намерении проводить реформы была сделана по случаю заключения Парижского мирного договора, которым завершилась Крымская война. Также и рескрипт 1857 года, запустивший процесс отмены крепостного права, был впервые опубликован в газете “Le Nord” (печатный орган российского правительства с редакцией в Бельгии) и лишь затем в России. См. [74, р. 20f].

основу для последующего развития капитализма в стране. И все же Великие реформы Александра II осуществлялись в куда более сложной политической обстановке, нежели реформы Мэйдзи. Япония в эпоху Мэйдзи была маленьким государством, новичком на международной арене, стремившимся к пересмотру «неравных договоров», которые были навязаны ему в конце эпохи Токугава. Чтобы эти договоры были пересмотрены, Японии нужно было показать западным державам, что она тоже цивилизованное государство, достойное уважения. Это означает, что у Японии был очень сильный международно-политический стимул к внутренним преобразованиям<sup>1</sup>. Кроме того, несмотря на горячие дебаты о том, что представляет больший приоритет – народное благосостояние (*minken*) или национальная слава (*kokken*), в среде японской элиты имелся широкий консенсус относительно необходимости усиления и улучшения международного статуса Японии. Показательно, что даже социалисты, которые стали появляться в конце эпохи Мэйдзи, утверждали, что социализм – это не что иное как «завершение реставрации Мэйдзи»<sup>2</sup>.

В отличие от Японии, Россия – несмотря на поражение в Крымской войне – продолжала оставаться одной из первостепенных великих держав. Ей не нужно было добиваться того, чтобы ее приняли в семью наций. Внешний стимул для внутренних реформ в России был гораздо слабее. Кроме того, как мы видели выше, к середине XIX века в рядах русской элиты произошел раскол по вопросу об идентичности России и ее национальных целях. В частности, задача умеренных реформаторов сильно осложнялась наличием радикального революционного движения. Покушение Дмитрия Каракозова на Александра II в 1866 году усилило позиции консервативных сил. А убийство царя в 1881 году положило начало периоду откровенной реакции [53, р. 161–180]. Многонациональный характер Российской империи тоже представлял собой изрядную головоломку для российских либералов. Польское восстание 1863 года заставило многих отойти от либерализма и перейти на более консервативные, националистические позиции. Даже Василий Боткин, восторженный поклонник западной цивилизации, с удивлением обнаружил в себе «националистические наклонности», о которых он до этого и не подозревал [55]. Константин Леонтьев, увлеченный ранее либеральными идеями, «стал любить монархию... стал восхищаться... статьями Каткова» [35, р. 55]. Либеральная реформа сама по себе не могла дать удовлетворительных решений тех проблем, которые стояли перед Россией.

**Консерватизм – монархический и славянофильский.** Несмотря на то, что отступление либерального реформизма сопровождалось возрождением консервативных идей, невозможно было просто-напросто снова возродить жесткий монархический консерватизм эпохи Николая I. Слишком глубоки были изменения во внутренней и внешней политике. На международной арене кон-

<sup>1</sup> В этой связи следует отметить, что разработка некоторых основополагающих японских законов (в том числе гражданского и торгового кодексов) с 1886 по 1887 год была поручена одному из комитетов в рамках Министерства иностранных дел. Внутренняя реформа в Японии эпохи Мэйдзи являлась в значительной степени частью японской внешней политики.

<sup>2</sup> Когда умеренно прогрессивный политик Окума Сигенобу в 1907–1908 годах предпринял попытку издать историю Японии с момента ее второго открытия в 1854 году, ему удалось получить материалы от самых разных авторов, представлявших полный политический спектр тогдашней Японии – от консервативного олигарха Ямагата Аритомо до либерального политолога Укита Кадзутами и христианского социалиста Абэ Исоо. Это указывает на то, что политическая поляризация в Японии эпохи Мэйдзи была относительно слабой. Сложно было бы представить появление подобного тома в России – с материалами от Константина Победоносцева до Петра Лаврова. Классическое обсуждение японского социализма эпохи Мэйдзи см. в [13].

ституционализм продолжал захватывать важные позиции как в Западной, так и в Центральной Европе, а Россия оставалась единственной абсолютной монархией Европы. В этом новом окружении консерваторы более не могли рассчитывать на ту идеологическую поддержку, которую они получали от режима Николая I<sup>1</sup>. С точки зрения внутренней обстановки, российское общество во второй половине XIX века стало намного сложнее и намного образованнее. Отмена цензуры и общая либерализация в области культуры в ходе Великих реформ породили новую общественную атмосферу, в рамках которой формулировалось много новых идей, которые доходили до внимания все более многочисленной читающей публики. В этой обстановке жесткая доктрина официальной народности не могла эффективно конкурировать с более красочными идеями националистов и консерваторов-славянофилов, таких как Михаил Катков и Иван Аксаков. Разгромив левых радикалов, царский режим не мог себе позволить полного отчуждения от консерваторов-славянофилов, к тому же некоторые из них занимали властные и влиятельные посты [43, p. 172].

И все же с точки зрения самодержавия и консерваторов-монархистов растущее влияние более популярного этнокультурного национализма могло оказаться серьезной проблемой. Рост великороссийского национализма мог представлять опасность не только с точки зрения единства многонациональной империи, но и был чреват подрывом легитимности «германизированной» бюрократии и самой династии Романовых<sup>2</sup>. Еще одним источником головной боли для консерваторов-монархистов стали выступления славянофилов в поддержку активной внешней политики России, особенно на Балканах. До Крымской войны славянофилы мало интересовались судьбой славян за пределами России. Но с началом войны славянофилы стали с энтузиазмом ее поддерживать<sup>3</sup>. После Крымской войны славянофилы обратились к благородному делу освобождения славян, утверждая, что именно Россия должна занять ведущую роль в этой борьбе. Однако с точки зрения консерваторов-монархистов, подобная политика была в высшей степени опасной, так как могла втянуть Россию в нежелательную войну с европейскими державами. При том что самодержавию – дабы совсем не оттолкнуть от себя образованную общественность – приходилось перенимать некоторые элементы славянофильского консерватизма, полностью воспринять идеи славянофилов оно было не в состоянии. Таким образом, в течение последних 50–60 лет истории царской России славянофилы и монархисты сосуществовали в рамках напряженного, неустойчивого равновесия.

Русско-турецкая война 1877–1878 годов обозначила высшую точку влияния консерваторов-славянофилов на российскую внешнюю политику. Однако симпатии к братским славянским народам были свойственны не только панславистским кругам. Уже в 1867 году Второй славянский съезд, проводивший-

<sup>1</sup> Константин Победоносцев – самый откровенный идеолог консерватизма последней четверти XIX века – чувствовал, что он «последний из могикиан», противостоящий нарастающей волне либеральной, демократической и социалистической лжи. См. [63, p. 55].

<sup>2</sup> Во время Польского восстания 1863 года император Александр II рассматривал злобную антипольскую риторику Каткова как «полезное неудобство». Однако, когда в 1867 году Катков и Иван Аксаков ополчились против балтийских немцев, выступив в своих газетах с нападками на немецкоязычные образовательные учреждения, Александр был сильно раздосадован и заверил балтийско-немецкое дворянство в своей поддержке. «Я плюю на прессу, которая пытается поставить вас на одну доску с поляками... Я уважаю вашу национальность и останусь верен этому» [35, p. 67–69, 75–76].

<sup>3</sup> Алексей Хомяков и Иван Киреевский горячо поддержали то, что они полагали «священной войной», а Константин Аксаков надеялся на завоевание Константинополя и создание «прочного союза всех славян под высочайшим покровительством русского государя» [34, p. 28; 35, p. 28].

ся в Москве, вызвал среди публики такой большой энтузиазм, что император Александр II и министр иностранных дел Горчаков сочли необходимым приветствовать делегатов из других славянских стран, несмотря на свое глубоко скептическое отношение к идеям панславизма<sup>1</sup>. С наступлением Балканского кризиса 1875 года в России произошел подъем искренней поддержки братских славянских народов Балкан. В 1876 году, еще до вступления России в войну, около пяти тысяч русских добровольцев отправились воевать в рядах сербской армии с благой целью «спасения братьев-христиан от язычников-турок». Эта война была настолько популярной, что решение правительства вступить в нее было принято в значительной степени в ответ на «глас народа» [70, р. 92–97].

И все же, несмотря на военную победу России над Османской империей, для консерваторов-славянофилов результаты Русско-турецкой войны оказались весьма неутешительными. На Берлинском конгрессе 1878 года России пришлось отказаться от многих своих завоеваний у Турции, зафиксированных Сан-Стефанским договором, из которых важнейшим было создание большого болгарского государства. Война опустошила государственную казну, так и не реализовав мечту о России как стране – предводительнице всех славян. Московский Славянский комитет, основной орган распространения панславистских идей, в 1878 году был упразднен. В то же время перед лицом финансовых трудностей Россия снова была вынуждена занять осторожную внешнеполитическую позицию, по крайней мере в отношении Европы. Хотя славянофильские и панславистские идеи после Русско-турецкой войны никуда не исчезли, славянофильский консерватизм сильно потерял в привлекательности и как политическая программа, и как конкретное видение российской идентичности.

Взамен славянофильских идей образованной публике стала сверху навязываться более официозная консервативная идеология. Высочайший манифест 29 апреля 1881 года, обнародованный через два месяца после убийства Александра II, провозгласил триединую формулу «Православие, Самодержавие, Народность» [24, с. 436–437]; см. также [52, с. 174 и сл.]. Баланс между монархическим и славянофильским консерватизмом был нарушен в пользу первого. При Александре III принцип «народности» стал означать русификацию национальных меньшинств. В этом отношении новый официозный консерватизм отличался от прежнего, монархического. Однако обновленная версия официозной народности не была вполне эффективной в плане формулировки привлекательного определения российской идентичности.

**Разворот России в сторону Востока.** После того, как во время Берлинского конгресса 1878 года панславистские чаяния России потерпели неудачу, обозначилась новая явственная тенденция, а именно разворот в сторону «Востока» как центральная компонента и российской внешней политики, и российской идентичности. Слово «Восток» здесь означало не мир православных славян, а территории, населенные восточными народами как в пределах, так и вне границ Российской империи. Ничего нового в этом повороте России на Восток, разумеется, не было. Тем не менее как в XVIII веке, так и в течение большей части века XIX завоевание Россией обширных пространств Евразии играло, как представляется, всего лишь второстепенную роль в определении российской идентичности. Разумеется, обширность российской территории всегда была центральным элементом российского самосознания. И все же до тех пор, пока Россия пыталась подражать Западу и следовать в его фарватере, обширные российские территории в Азии являли собой скорее обременительную пери-

<sup>1</sup> Тысячи людей приветствовали иностранных делегатов Славянского съезда, прибывавших на железнодорожные вокзалы Москвы. Славянская этнографическая выставка, в связи с которой проводился съезд, привлекла порядка тридцати тысяч посетителей. См. [35, р. 99; 70, р. 82–83].



ферии, необжитые пространства, в лучшем случае – возможность для экспериментов по западным лекалам. Даже в середине XIX века, когда представители российской элиты стали искать цивилизационные альтернативы Западу, они находили их чаще всего либо в православной, либо в славянской цивилизации. В отличие от Соединенных Штатов, для которых завоевание Дикого Запада – со всем его живописным величием, экономическими возможностями и грубым, но эффективным индивидуализмом – стало центральным элементом национальной идентичности, в России базовая матрица «специфически российской» идентичности лежала, по-видимому, в европейской части России к западу от Урала<sup>1</sup>.

Однако в последние два десятилетия XIX века и в первые годы XX века интерес к Востоку стал занимать все большее место в российской политике и в определении российской идентичности. Интерес к Востоку выражался в самых разных формах<sup>2</sup>. Некоторые считали, что поворот России к Востоку был попыткой восстановить уверенность нации в себе после дипломатического унижения в ходе Берлинского конгресса. Незадолго до смерти Достоевский писал в своем очерке «Геок-Тепе: Что такое для нас Азия?»: «В Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азию явимся господами. В Европе мы были татарами, а в Азии и мы европейцы. ...цивилизаторская миссия наша в Азии возвысит наш дух... она придаст нам достоинства и самосознания – а этого сплошь у нас теперь нет или очень мало»<sup>3</sup>. Предложение Достоевского можно прочесть как попытку изменить систему координат при оценке места России в мире с диады «Россия и Запад» на триаду «Россия, Запад и Азия». Путешествия Николая Пржевальского в Азии и описания этих путешествий, возможно, выполняли сходную функцию, поскольку его отчеты об отважных подвигах в Азии исходят из того, что Россия принадлежит к Европе, как из само собой разумеющегося факта [66, р. 43]. Если Вячеслав Плевэ действительно однажды сделал часто цитируемое замечание о «маленькой победоносной войне»<sup>4</sup>, то он, должно быть, тоже полагал, что победа на Востоке поможет предотвратить революцию внутри России, подстегнув ее уверенность в своем статусе великой державы.

Мирное, культурное проникновение России на Восток, каким его видел министр финансов Сергей Витте, конечно, отличалось от «конкистадорского империализма» Пржевальского или от потребности Плевэ в малой победоносной войне. Но тем не менее его взгляды вполне согласовывались с более воинственным видением российской экспансии в Азии в том отношении, что Витте полагал принадлежность России к Европе само собой разумеющимся фактом

<sup>1</sup> Это нагляднее всего видно на примере контраста между местом «Запада» в американском национальном искусстве и местом «Востока» в русском национальном искусстве. В то время как изображение американского Запада (Скалистых гор, Сьерра-Невады, Ниагары) художниками Гудзонской школы живописи стало неотъемлемой частью американского представления о своей стране, русские художники венециановской школы и передвижники концентрировали внимание на изображении людей и природы европейской части России, и именно это стало «национальным кодом» русской живописи. И только начиная с последних двух десятилетий XIX века Восток страны стал важной частью русского художественного восприятия. См. [57, р. 33–394]; см. также [31].

<sup>2</sup> Дэвид Шиммельпенник ван дер Ойе выделяет четыре различные концепции касательно предназначения России в Азии, которые возникли к концу XIX века: конкистадорский империализм, тихоокеанское проникновение (*Pénétration pacifique*), пан-азианизм и теория Желтой угрозы. Здесь я опираюсь на его типологию, см. [66].

<sup>3</sup> В оригинале цитируется по [36, р. 1369–1375].

<sup>4</sup> Сидни Харкейв, издатель английской версии мемуаров Плевэ, отмечает, что в мемуарах Куропаткина за этот же период (примерно декабрь 1903 – январь 1904) зафиксировано несколько иное замечание Плевэ. См. [73, р. 781, fn. 22].

и утверждал, что миссия России – быть предвестником европейской цивилизации на Востоке. Несмотря на расхождения между ними, и Пржевальский, и Витте шли по следам тех, кто считал Россию частью Европы, а отношения между Россией и Азией видел сквозь евроцентрическую призму.

Однако были и такие, для кого поворот к Азии значил нечто большее. Еще в середине XIX века Алексей Хомяков, выдающийся философ-славянофил, видел преимущество России перед Западом в методичном следовании «иранскому», как он его называл, принципу, сохранившемуся также у некоторых восточных народов. Хотя высказывания Хомякова по этому поводу могут быть интерпретированы как присвоение «арийской» теории, которую развивали такие немецкие мыслители, как Фридрих Шлегель, соображения Хомякова подразумевали высокую оценку некоторых азиатских стран [68, р. 74–75]. Когда в 1880-х годах композиторы – участники «Могучей кучки» пытались создать новый музыкальный язык, который был бы отчетливо русским (а не западноевропейским), они всячески полагались на музыкальные образы Востока. «Шехерезада» Римского-Корсакова, «В степях Центральной Азии» и «Князь Игорь» Бородина – яркое тому подтверждение. Критик Владимир Стасов обеспечил историческую поддержку такой интерпретации «восточной» идентичности России, утверждая, что русские народные былины являются слепок с похожих народных сказаний Индии и Персии<sup>1</sup>. Хотя интерес Достоевского к Азии состоял отчасти в желании преодолеть российскую «славянскую ментальность» («лакейская боязнь») и снова утвердить уверенность России в себе как великой державе, он тоже настаивал на том, что «Россия – не только в Европе. Она также и в Азии. Русские не только европейцы – они также и азиаты» [36]. В конце XIX века князь Эспер Ухтомский, сопровождавший будущего императора Николая II в большом путешествии по Азии, обнаружил, что Россия более азиатская страна, нежели европейская. «Наше собственное прошлое и прошлое Индии... сходны и родственны... Запад очень туманно отражен в нашей мыслительной жизни. Глубины, лежащие под поверхностью, оживают в атмосфере глубоко восточных взглядов и верований»<sup>2</sup>. Как Ухтомский, так и философ-консерватор Константин Леонтьев настаивали на том, что Россию с Азией связывает как минимум родство с автократическим правлением. «Восток верит не меньше, чем мы – писал Ухтомский, – в самую драгоценную нашу традицию – самодержавие»<sup>3</sup>.

В течение обсуждаемого здесь периода «азиатский» взгляд на российскую идентичность оставался малоразвитым и рудиментарным. Если отвлечься от переоценки Азии и осознания того, что у России были азиатские корни и что Россию с Азией связывают автократические принципы, интеллектуального взаимодействия, похоже, было совсем немного. Пан-азианизм может в некотором смысле рассматриваться как трансформированная версия славянофильства, если «славянство» заменить на «Азию» или «Восток». Однако «пан-азианизм» подразумевал более глубокую угрозу евроцентрическим взглядам, так как «азианисты» имплицитно продвигали азиатские нации, которым до того предписывались лишь скромные, униженные места в воображаемой иерархии народов, на более достойные позиции.

Как бы сильно ни различались вышерассмотренные концепции, во всех них виден растущий интерес России к Азии, и в частности к Дальнему Востоку в последние десятилетия XIX века и в начале XX столетия. Однако поражение России в Русско-японской войне снова сорвало попытку российской элиты сформулировать новую российскую идентичность и выкроить для нее достойное место, которое, им казалось, она заслуживала.

<sup>1</sup> Такие произведения, как «Шехерезада» Римского-Корсакова, «В степях Центральной Азии», «Князь Игорь» Бородина и «Кавказский пленник» Пушкина – свидетельства этому. См. [67, ch. 9].

<sup>2</sup> Цитируется в [66, р. 58].

<sup>3</sup> Там же.

**От отсталости к зависимости: Россия и мировая экономика.** Вторая половина XIX века была временем, когда вопрос об экономическом неравенстве России и Запада приобретал в российском сознании все большую значимость. Осознание экономической отсталости перед лицом Запада никоим образом не было новым. Стимулирование отраслей промышленности и преодоление экономической отсталости было центральной заботой Ивана Посошкова, крупнейшего русского мыслителя-экономиста петровской эпохи. Однако начиная с конца XVIII столетия, по мере того, как образованное общество становилось все более отчужденным от правительства и от осуществления власти, в «прогрессивных» сегментах образованной общественности стали заметно терять интерес к вопросам экономической отсталости, больше концентрируясь на темах, связанных со свободой и социальной справедливостью внутри страны [38, р. 11–39]. Поколения «прогрессивных» мыслителей от Радищева до Чернышевского сосредоточили свое внимание на домашних моральных, политических и социальных проблемах, игнорируя вопрос о положении России в мировой политике и экономике<sup>1</sup>.

Экономическое неравенство между Западом и Россией нарастало в первой половине XIX века и было с болезненной ясностью продемонстрировано во время Крымской войны. Во второй половине XIX века российская экономика более тесно интегрировалась в расширяющуюся мировую экономику. В этом контексте все большее количество мыслителей начали уделять более серьезное внимание вопросу экономической отсталости и в особенности вопросу о месте России в мировой экономике. В то время как большинство российской политической элиты продолжали считать Россию просто «отсталой» страной, некоторые начали рассматривать ее как страну *зависимую\** или даже *эксплуатируемую\**. Одними из первых в таких терминах стали рассуждать славянофилы. Уже в 1863 году Ф.В. Чижов охарактеризовал зарубежных инвесторов как «эксплуататоров», которые «не видят разницы между русскими и американскими индейцами»<sup>2</sup>. Для того, чтобы противостоять губительному влиянию таких «эксплуататоров», Чижов стремился способствовать развитию самостоятельных отраслей промышленности. Николай Данилевский в конце 1860-х годов более систематически развивал идею периферийного статуса России в мировой экономике, доказывая, что последняя представляет собой арену конфликта, на которой «город» (индустриальные страны) правит «деревней» (аграрными странами, включая Россию) [7, с. 369]<sup>3</sup>. Для Данилевского подходящей стратегией для России был бы полуавтаркический экономический блок, включающий Россию и другие славянские страны<sup>4</sup>. Взгляд, согласно которому Россия занимает в мировой экономике зависимое, полуколониальное положение, разделял также Сергей Витте, который в качестве министра финансов руководил быстрым экономическим развитием страны в 1890-х годах. В отличие от Данилевского,

<sup>1</sup> Я не утверждаю здесь, что критические прогрессисты не интересовались международным положением России. На каком-то глубинном уровне оно их очень даже интересовало, но они отказывались – имеется соблазн так думать – заботиться о положении России в плане военной или экономической мощи ровно потому, что их идея заключалась в том, чтобы улучшить глобальное положение страны через посредство создания морального, гуманного общества, которое стояло бы «выше» игр мировой политики. См. по этому поводу [49, р. 69–108].

<sup>2</sup> Цит. в [55, р. 39].

<sup>3</sup> Такой предполагающий игру с нулевой суммой взгляд на мировую экономику разделялся другими славянофилами-консерваторами, см. [25].

<sup>4</sup> Хотя Данилевский отвергал полную автаркию, он полагал, что преимущества торговли для России ограничены, поскольку у страны нет удобного выхода к незамерзающим портам, а главные реки страны текут в меридиональном, а не в широтном направлении. Также, учитывая большой размер российской экономики, Данилевский считал, что ущерб от автаркии будет минимальным. [7, с. 346, 377].

Витте разработал динамичную программу экономического роста, предназначенную для улучшения позиций России в капиталистической мировой экономике [50, p. 71–119].

Однако что оказалось для России более фатальным, так это идеи, развивавшиеся на этот счет критическими прогрессистами. В 1880-х годах два представителя «легального народничества», Василий Воронцов и Николай Даниельсон, разрабатывали более изоощренные теории, утверждавшие, что Россия не может развиваться в рамках капитализма. Центральным в их аргументации был пункт о том, что капитализм для своего развития нуждается во внешних рынках<sup>1</sup>. По их мнению, европейские капиталистические государства были в состоянии развиваться именно на основе завоевания внешних рынков. Однако теперь, когда мировые рынки поделены между признанными промышленными державами, Россия развиваться по капиталистической модели не может. Даниельсон в своей книге 1893 года предполагал, что Россия превратится в *данника\** более передовых стран, если только она не разовьет некапиталистическим путем собственные отрасли промышленности до высокого уровня Западной Европы [11, с. 550]. Даниельсон, однако, не уточнял, как Россия сможет достичь социализма в контексте мировой капиталистической экономики. Хотя он и признавал, что проблемы, стоящие перед российской экономикой, имеют корни в более широкой структуре экономики мировой, его решение по-прежнему предполагало внутреннюю трансформацию России.

Доведенные до логического конца выводы из идеи невозможности капиталистического развития в России были в дальнейшем сделаны Сергеем Южаковым, который указал также на возможный путь к социализму, призывая Россию возглавить глобальных «неимущих» в их восстании против «имущих». В статье, опубликованной в 1895 году, Южаков на основе наблюдений за международной торговлей и потоками капиталов утверждал, что страны мира делятся на *имущих\** и *неимущих\** [27, с. 186–187]. Для Южакова Россия явно принадлежит к «неимущим», группе стран, выплачивающих «дань» глобальной плутократии. Что могут сделать «неимущие» страны для улучшения своего положения? Один тип стратегий, открытых для «неимущих», представлен Китаем: это стратегия «слепых попыток сохранения старой системы экономической жизни». В результате этого Китай идет по пути Индии и других колонизованных стран [27, с. 197]. Японская атака на Корею и Маньчжурию, утверждает Южаков, представляет собой пример противоположной стратегии, стратегии капиталистического развития<sup>2</sup>. Италия следовала по тому же пути, однако ее экспансия провалилась, «поскольку рядом не оказалось Кореи и Китая», а также в силу уравновешивающего присутствия Франции. По этому же пути пыталась следовать и Россия, хотя с меньшим успехом. И все же, по Южакову, японский путь ведет в тупик, а о китайском не приходится и говорить. Вместо этого, доказывает Южаков, России следует выбрать третий путь – путь глобальной социалистической революции. Он призывает Россию возглавить мировое восстание против плутократии,

<sup>1</sup> Воронцов и Даниельсон доказывали, что капитализм проистек из грубого процесса «первоначального накопления», влекущего массовое обнищание большинства населения, что лишает капитализм достаточно обширного рынка для его продуктов. Лишенный домашних рынков, он для своего выживания вынужден искать рынки за рубежом. [11, с. 425 и сл., 528 и сл.].

<sup>2</sup> Согласно Южакову, японская попытка капиталистической модернизации вызвала сельскохозяйственный и промышленный кризис, как и предсказывали Воронцов с Даниельсоном, и Япония стала искать разрешение этого кризиса в приобретении новых рынков путем завоевания [28, с. 194–200]. О развитии взглядов Южакова в Японии см. [17, с. 55–74]. Я признателен профессору Суичи Коидзими из университета Конан за то, что он обратил мое внимание на эту работу.

восстание, которое объединит глобальную периферию с массами в развитых капиталистических странах<sup>1</sup>.

Идеи Южакова чрезвычайно значимы тем, что они сместили акцент в анализе социальных изменений с отдельных обществ на более широкую, глобальную систему. Помещенный в этот более широкий контекст контраст между Россией и Западом уже не предстает более как вопрос об «отсталости», которая может – и должна – быть преодолена за счет внутренней трансформации российского общества. Он скорее рассматривается теперь – по крайней мере отчасти – как следствие экономического доминирования Запада по отношению к России, и разрешение этой проблемы должно быть найдено в глобальном революционном политико-экономическом преобразовании. Применяя классовый анализ к мировой политической экономике и предполагая, что Россия должна будет возглавить революцию «неимущих» против глобальной плутократии, Южаков закладывал интеллектуальный фундамент для ленинской теории империализма.

\* \* \*

Впечатляющий успех современной западной цивилизации поставил элиту незападных стран перед трудной дилеммой. С одной стороны, западные элиты должны были модернизироваться, учась у Запада и массированно поражая ему. Но это было чревато подрывом культурной автономии и чувства самоуважения незападных элит. Большая часть истории незападных ареалов в современную эпоху может рассматриваться как история ответов на этот вызов.

К середине XIX века образованные жители России уже выработали разнообразные ответы на вопрос о российской идентичности. Каждый из этих ответов стремился так или иначе справиться с часто болезненным сравнением «России и Запада» и сформулировать какое-то видение, которое позволило бы России увеличивать и сохранять свое самоуважение. В период между Крымской и Русско-японской войнами Россия последовательно принимала различные варианты внешней и внутренней политики, которые выражали ту или иную концепцию национальной идентичности (или какую-то их комбинацию). Одно время преобладало либерально-прогрессивное видение, тогда как в другое время превалирующим оказывалось славянофильско-консервативное. Меняющаяся политика правительства влияла как на внутренние, так и на внешние условия, которые, в свою очередь, влияли на последующую эволюцию российских идентичностей. В целом стремление России к модернизации и самоуважению приносило в течение этого периода лишь неоднозначные результаты и было отмечено повторяющейся фрустрацией. Либерально-прогрессивное видение потеряло большую часть своей притягательности к концу 1860-х годов.

<sup>1</sup> В заключительном пассаже своей книги «Социологические этюды» он писал: «Из великих наций Англия, Нидерланды и Франция занимают позицию экономически господствующих, представляют капитал в международных отношениях. Соединенные Штаты и Германия... бьются за место таких же экономических господ. ...весьма мало шансов, чтобы еще какая-либо великая нация имела возможность подняться на ту же ступень... Из массы представителей труда возвышаются немногие представители капитала. В таком случае, Россия окажется силою вещей в числе наций, представляющих труд международных отношений и страдающих от экономического дифференцирования, от господства капитала. И не естественно ли ожидать, что на ее долю выпадет значительная роль в предстоящей борьбе за международную экономическую справедливость?» [29, с. 340]. В этом отрывке Южаков выступает в качестве одного из первых теоретиков экономической зависимости.

Славянофильское видение России как освободительницы и лидера славянских народов тоже уперлось в препятствия, а поворот России к Азии хотя и принес богатые в художественном плане результаты, политически закончился поражением в Русско-японской войне.

Повторяющееся разочарование в попытках достичь модернизации и самоуважения вынудило российскую элиту искать новые идентичности и новые решения, выходящие за рамки привычной схемы «Россия и Запад». Некоторые из тех россиян, что к концу XIX века «повернулись к Востоку», восстали против преобладающего евроцентрического взгляда на международную культурную иерархию. Еще более значимым было то, что многие образованные жители России вышли за привычные рамки «сравнения и противопоставления» России и Запада, обратившись к пониманию российской ситуации в более широком контексте мировой системы, в которой доминируют западные державы.

Как Россия, так и Япония сыграли решающую роль в эволюции современной международной системы, характеризующейся доминированием Запада. Я бы осмелился утверждать, что одной из причин этого было то, что Россия и Япония явились отчетливыми примерами того, что можно назвать статусно противоречивыми странами (*status-inconsistent countries*). При этом роли, которые они играли, были противоположными. Эта противоположность коренится в различии позиций, занимаемых двумя странами в международной системе. В то время как Япония появилась в ней как «наиболее успешно модернизирующаяся страна незападного мира», Россия была, по словам экономиста Сергея Прокоповича, «беднейшей из цивилизованных [западных] стран»<sup>1</sup>. Японская элита современной эпохи, видевшая в своей стране «историю успеха Азии (не-Запада)», по большей части выбрала принятие преобладающих западных критериев успеха и славы и стремилась (за исключением краткого периода в 1930–1940-х годах) подражать ведущим западным странам. То, чего добилась Япония, силой примера продемонстрировало, что военные и экономические успехи в современном мире доступны не только белым европейцам и их потомкам.

Напротив, российская элита, мучимая сознанием «отсталости» своей страны в большой европейской семье, пришла к тому, чтобы бросить вызов ранжирующей страны преобладающей ценностной иерархии в целях сохранения Россией чувства самоуважения. Хотя во многих незападных цивилизациях элита тоже изобрела сходные идеологии психологической компенсации, российскую элиту отличало то, что она стремилась, как заметил Мишле, показать свое равенство Западу или превосходство над ним, используя при этом язык, доступный жителям западных стран. Это склонило российскую элиту к принятию универсалистского языка (с такими терминами, как социализм) для формулирования отличительной российской идентичности. А это способствовало тому, что поиск Россией отличительной идентичности и образа себя вылился в такие теории, привлекательность которых оказалась гораздо более широкой, чем внутрироссийская<sup>2</sup>. Хотя социалистический эксперимент в России закончился неудачей, ленинизм внес свой вклад в демократизацию международной системы, снабдив мир мощным идеологическим оружием против колониализма.

Таким образом, часто приносивший разочарование поиск российской элитой во второй половине XIX века путей модернизации и способов обретения

<sup>1</sup> Цит. по [37, р. 31].

<sup>2</sup> В этой связи можно вспомнить знаменитое замечание Достоевского на открытии памятника Пушкину в Москве в июне 1880 года: «Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите». В оригинале цитируется по [41, р. 239].

самоуважения, не только подготовил основания для той исторической роли, которую сыграла Россия в XX веке, но и внес важный вклад в эволюцию современного мирового порядка.

## Литература

1. *Белинский В.Г.* Сочинения Александра Пушкина. Статья восьмая // *Белинский В.Г.* Собр. соч.: в 3 т. / Под общ. ред. Ф.М. Головенченко. М.: ОГИЗ; ГИХЛ, 1948. Т. III. Статьи и рецензии 1843–1848.
2. *Берви-Флеровский В.В.* Избранные экономические произведения. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1958. Т. 1.
3. *Воронцов В.П.* Судьбы капитализма в России. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1882.
4. *Воронцов В.П.* Судьба капиталистической России. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1907.
5. *Гиндин И.Ф.* Государственный банк и экономическая политика царского правительства (1861–1892 гг.). М.: Госфиниздат, 1960.
6. *Гросул В.Я. и др.* Русский консерватизм XIX столетия: Идеология и практика. М.: Прогресс-традиция, 2000.
7. [Данилевский Н.Я.] Сборник политических и экономических статей Н.Я. Данилевского. СПб.: Тип. братьев Пантелеевых, 1890.
8. *Задохин А.Г.* Внешняя политика России: Национальное сознание и национальные интересы. М.: Дипломатическая академия МИД России, 2002.
9. *Кавелин К.Д., Чичерин Б.Н.* Письмо к издателю // *Голоса из России* / Под ред. М.В. Нечкиной. М.: Наука, 1974. Вып. 1. Кн. 1.
10. *Кано М.* 鹿野政直編、『陸羯南、三宅雪嶺』(東京:中央公論社、1971年)、399–400頁
11. *Каратаев Н.К.* Народническая экономическая литература: Избранные произведения. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1958.
12. *Киняпина Н.С.* Дипломаты и военные: генерал Д.А. Милютин и присоединение Средней Азии // *Российская дипломатия в портретах*. С. 221–238.
13. *Мацудзава Х.* 松沢弘陽、「明治社会主義の思想」、日本政治学会編、『日本の社会主義』(東京:岩波書店、1968年) 所収。
14. Министерство финансов, 1802–1902. СПб.: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1902.
15. *Ока Й.* 岡義武、「国民的独立と国家理性」、唐木順三他編、『世界のなかの日本』(筑摩書房、1961年)、9–79頁所収。
16. *Российский либерализм: Идеи и люди* / Под ред. А. Кара-Мурзы. М.: Новое издательство, 2007.
17. *Сасаки Т.Н.* 佐々木照央、「自由主義的ナロードニキの日本観:S.N.ユジャコフ(1849–1910)の場合」、埼玉大学紀要 外国語学文学篇、第20号、55–74頁。) )
18. *Саго М.С.* 佐藤誠三郎、「幕末・明治初期における対外意識の諸類型」、佐藤誠三郎・R.ディンゲマン編、『近代日本の対外態度』(東京大学出版会、1974年)、1–34頁。
19. *Синода Т.* 篠田治策、「外交上至尊の御称号と我が国号」、『外交時報』第 736号 (1936年6月1日)、40–47ページ。
20. *Славянофильство и Западничество*. М., 1991. Вып. 1.
21. *Струве П.* Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1894.
22. *Трубачев О.Н.* Русский-российский: История, динамика, идеология двух атрибутов нации // *Русская нация: Историческое прошлое и проблемы возрождения* / Под ред. Е.С. Троицкого. М.: АКИРН, 1995.
23. *Хитрова Н.И.* Триумф А.М. Горчакова: Отмена нейтрализации Черного моря // *Российская дипломатия в портретах* / Под ред. А.В. Игнатъева. М.: Международные отношения, 1992.
24. *Хрестоматия по истории СССР*. 3-е изд. / Под ред. С.С. Дмитриева и М.В. Нечкиной. М.: Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1953. Т. 3.
25. *Шарапов С.Ф.* Русская экономическая программа // *Русь*. 1883. 1 и 15 декабря. Т. 3. № 23–24.
26. *Шевырев А.П.* Русский флот после Крымской войны: Либеральная бюрократия и морские реформы. М.: Изд-во МГУ, 1990.
27. *Южаков С.Н.* 1894 г. Из современной хроники // *Русское богатство*. 1895. Январь.
28. *Южаков С.Н.* Японская экономическая политика и война 1894 года // *Русское богатство*. 1895. Ноябрь. С. 194–200.

29. Южаков С.Н. Социологические этюды. СПб.: Тип. Стасюлевича, 1896. Т. 2.
30. Anno T. The Liberal World Order and Its Challengers: Nationalism and the Rise of Anti-Systemic Movements in Russia and Japan, 1860–1950. Ph.D. dissertation, University of California, Berkeley, 1999.
31. Bassin M. Imperial Visions: Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East 1840–1865. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
32. Black C.E. et al. The Modernization of Japan and Russia. New York: The Free Press, 1975.
33. Carr E.H. 'Russia and Europe' as a Theme of Russian History // *Richard Pares and A.J.P. Taylor, eds. Essays Presented to Sir Lewis Namier*. London: Macmillan, 1956.
34. Duncan P.J.S. Russian Messianism: Third Rome, Revolution, Communism and After. London: Routledge, 2000.
35. Durman K. The Time of the Thunderer: Mikhail Katkov, Russian Nationalist Extremism and the Failure of the Bismarckian System, 1871–1887. Boulder, CO: East European Monographs, 1988.
36. Fyodor Dostoevsky. A Writer's Diary. Vol. 2. Chicago, IL.: Northwestern University Press, 1994.
37. Gatrell P. The Tsarist Economy, 1850–1917. London: B.T. Batsford, 1986.
38. Gerschenkron A. The Problem of Economic Development in Russian Intellectual History of the Nineteenth Century // *Simmons Ernest J. ed. Continuity and Change in Russian and Soviet Thought*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1955. P. 11–39.
39. Greenfeld L. Nationalism: Five Roads to Modernity. Cambridge, MA.: Harvard University Press, 1992.
40. Greenfeld L. The Formation of Russian National Identity: The Role of Status Insecurity and Resentment // *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 32, No. 3 (July 1990) / P. 549–591.
41. Isham H. ed. Remaking Russia: Voices from Within. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1995.
42. Jansen M. On Foreign Borrowing // *Japan: A Comparative View* / Ed. by Craig A.M. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1979. P. 18–48.
43. Jelavich B. St. Petersburg and Moscow: Tsarist and Soviet Foreign Policy, 1814–1974. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1974. P. 136–147.
44. Kaiser J. The Geography of Nationalism in Russia and the USSR. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
45. Kipp J.W. M. Kh. Reutern on the Russian State and Economy: A Liberal Bureaucrat during the Crimean Era, 1854–60 // *Journal of Modern History*, 1975.
46. Kohn H. Pan-Slavism: Its History and Ideology. Notre Dame, IN.: University of Notre Dame Press, 1953.
47. Kohn H. The Mind of Modern Russia: Historical and Political Thought of Russia's Great Age. New York: Harper & Row, 1955.
48. Laue Th. H. von. Legal Marxism and the "Fate of Capitalism in Russia" // *The Review of Politics*. Vol. 18 (1956). No. 1.
49. Laue Th. H. von. Problems of Modernization // *Lederer I.J. ed. Russian Foreign Policy: Essays in Historical Interpretation*. New Haven: Yale University Press, 1962, P. 69–108.
50. Laue Th. H. von. Sergei Witte and the Industrialization of Russia. Washington, DC: Columbia University Press, 1963. P. 71–119.
51. Lieven D.C.B. Russia and the Origins of the First World War. London: Longman, 1983.
52. Lincoln W.B. In the Vanguard of Reform: Russia's Enlightened Bureaucrats, 1825–1861. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 1982.
53. Lincoln W.B. The Great Reforms: Autocracy, Bureaucracy, and the Politics of Change in Imperial Russia. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 1990.
54. Malia M. Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Cambridge, MA: The Belknap Press, 1999.
55. Owen Th.C. Capitalism and Politics in Russia: A Social History of the Moscow Merchants, 1855–1905. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
56. Pintner W.M. and Rowney D.K. eds. Russian Officialdom: The Bureaucratization of Russian Society from the Seventeenth to the Twentieth Century. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1980.
57. Raev A. National Code of Landscape in Russian Contemporary Art // *Ritsumeikan Studies in Language and Culture*. Vol. 25. No. 1 (October 2013). P. 33–39.
58. Riasanovsky N.V. Nicholas I and Official Nationality in Russia, 1825–1855. Oakland, CA: University of California Press, 1959.
59. Riasanovsky N.V. Asia through Russian Eyes // *Wayne S. Vuchinic, ed. Russia and Asia*. Stanford: Hoover Institution, 1972.
60. Riasanovsky N.V. A Parting of Ways: Government and the Educated Public in Russia, 1801–1855. Oxford: Oxford University Press, 1976.



61. *Riasanovsky N. V.* The Image of Peter the Great in Russian History and Thought. Oxford: Oxford University Press, 1985.
62. *Rieber A. J.* Interest-Group Politics in the Era of Great Reforms // *Eklof B. et al., eds.* Russia's Great Reforms, 1855–1881. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1994.
63. *Rogger H.* National Consciousness in Eighteenth-Century Russia. Cambridge, MA.: Harvard University Press, 1960.
64. *Rogger H.* Russia in the Age of Modernization and Revolution, 1881–1917. London: Longman, 1983.
65. *Rosovsky H.* Capital Formation in Japan. New York: Free Press, 1961.
66. *Schimmelpenninck van der Oye D.* Toward the Rising Sun: Russian Ideologies of Empire and the Path to War with Japan. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 2001.
67. *Schimmelpenninck van der Oye D.* Russian Orientalism: Asia in the Russian Mind from Peter the Great to the Emigration. New Haven: Yale University Press, 2010.
68. *Soojung Lim S.* China and Japan in the Russian Imagination, 1685–1922: To the Ends of the Orient. London: Routledge, 2013.
69. *Toynbee A. J.* The World and the West. Oxford: Oxford University Press, 1953.
70. *Tuminez A. S.* Russian Nationalism since 1856: Ideology and the Making of Foreign Policy. New York: Rowman & Littlefield, 2000.
71. *Walicki A.* The Controversy over Capitalism: Studies in the Social Philosophy of the Russian Populists. Oxford: Oxford University Press, 1969.
72. *Walicki A.* A History of Russian Thought: From the Enlightenment to Marxism. Redwood City: Stanford University Press, 1979.
73. *Witte Sergei.* The Memoirs of Count Witte. Armonk, NY: M. E. Shpre, 1990.
74. *Zakharova L.* Autocracy and the Reforms of 1861–1874 in Russia: Choosing Paths of Development // *Eklof B. et al., eds.* Russia's Great Reforms, 1855–1881. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1994.

Перевод с английского Т.Л. Ветошкиной и П.Б. Паршина

*Аннотация.* В статье предпринимается попытка путем сравнения России с Японией рассмотреть на макроуровне развитие российской идентичности во второй половине XIX века. Для этого прежде всего постулируется ряд базовых исторических различий между двумя странами, восходящих к отношениям России и Японии, соответственно, с Византией и Китаем. Автор доказывает, что эти базовые исторические различия сформировали условия, в которых российская и японская элиты периода модернизации вели поиски, направленные на определение идентичности своих стран. Далее рассматриваются сходства и различия между Россией и Японией в их стремлении к модернизации и самоуважению во время «Великих реформ» в каждой из двух стран, а именно в течение полувекового периода с середины 1850-х годов до 1905 года. Японская элита периода модернизации определяла национальную идентичность Японии в «триадическом» контексте, включающем в себя Японию, Запад и остальную Азию. В этом контексте японская элита стремилась сформировать национальное «самоуважение» путем демонстрации превосходства Японии над другими азиатскими (и, шире, не-западными) странами, измеряемого посредством критериев, заимствованных на Западе. Напротив, российская элита периода модернизации определяла идентичность России в «диадическом» контексте, включающем в себя Россию и Запад. Автор доказывает, что в целях формирования самоуважения России в таком сопоставительном контексте российская элита периода модернизации стремилась оспорить доминирующие западные критерии для измерения достижений различных стран и цивилизаций и таким способом продемонстрировать равенство России с Западом или ее превосходство над ним. Завершает работу обсуждение значения, которое поиски Россией (и Японией) своей идентичности в конце XIX века имели для последующей эволюции мирового порядка.

*Ключевые слова:* Россия, Япония, Восток, Запад, Азия, пан-азианизм, реставрация Мэйдзи, «Великие реформы» в России, модернизация, самоуважение, вестернизация, национальная идентичность, западники, славянофилы, консерватизм, либерализм, монархизм, народничество, экономическая отсталость, Крымская война, «поворот России на Восток», компенсационные идеологии.

Tadashi Anno, Ph.D. in Political Science; Sophia University (Tokyo), Associate Professor of Political Science / International Relations. E-mail: t-anno@sophia.ac.jp

**Russia in the Japanese Mirror: Modernization and the Search for Identity, 1856–1905**

*Abstract.* This paper seeks to provide a macro-level perspective on the development of Russia's identity in the second half of the nineteenth century, by comparing Russia with the case of Japan. The paper first establishes some basic historical contrasts between the two countries, going back to the relationship of Russia and Japan, respectively, with Byzantium and with China. These basic historical contrasts, I argue, shaped the conditions under which the modern Russian and Japanese elite sought to define the identity of their own countries. The paper then turns to the similarities and contrasts in the two countries' search for modernization and self-respect in the period of "Great Reforms" in the two countries – namely, the half-century since the mid-1850s through 1905. The modern Japanese elite, it will be argued, defined Japan's national identity in the "triadic" context of Japan, the West, and the rest of Asia. In this context, the Japanese elite sought to establish Japan's national "self-respect" by demonstrating Japan's superiority over other Asian (and more generally, non-Western) countries when measured by criteria borrowed from the West. By contrast, the modern Russian elite defined Russia's identity primarily in the "dyadic" context of Russia and the West. In order to establish Russia's self-respect in this comparative context, the modern Russian elite, I argue, sought to challenge the dominant Western criteria for measuring the achievements of different nations and civilizations, and thereby demonstrate Russia's equality with or superiority over the West. The paper concludes with a reflection on the meaning of Russia's (and Japan's) search for identity in the late-19C for the subsequent evolution of the world order.

*Ключевые слова:* Russia, Japan, West, East, Asia, Asianism, Meiji Restoration, "Great Reforms" in Russia, modernization, self-respect, westernization, national identity, westernizers, Slavophiles, conservatism, liberalism, populism, monarchism, Crimean War, Russia's "Turn to the East", economic backwardness, ideologies of compensation..

**Б.В. Межуев.** Хотел бы обратить внимание, что Россия имеет точной такой же образ «выпрыгивания» из Азии, как и Япония, образ некоего рывка из евроазиатского пространства в Европу, на Запад. 1991 год для многих в России именно таковым и являлся. Неудача этого рывка определяет многие последующие поиски России своей идентичности. Почему это не удалось так, как удалось Японии после революции Мэйдзи и после Второй мировой войны?

**М.А. Маслин.** Когда говорят об эпохе Мэйдзи, несправедливо не упомянуть Льва Мечникова. Помимо книги «Цивилизация и великие исторические реки», у него есть написанная по-французски и до сих пор не переведенная на русский книга «Японская империя», первая в своем роде. Мечников был полиглот, знал четырнадцать языков, и последний иностранный язык, который он изучил, был японский. Он два

года преподавал в Токийском институте иностранных языков. Это был русский гений. Его брат – Нобелевский лауреат Илья Мечников, но Лев – не менее гениальная фигура. Он предсказал великое будущее японской цивилизации в двадцатом столетии.

**Б.В. Межуев.** Кстати, и Владимир Соловьев в статье о Японии предрекал ей великое будущее, в частности, за способность критически отнестись к своим традициям. Он очень высоко оценивал способности Японии развиваться в прогрессивном ключе, несмотря, а может быть, и в силу наличия страхов, что это развитие рано или поздно приведет к столкновению с Россией. Мы подошли к новому докладу «Взаимные образы России и Японии. Надежды на мягкую силу». Доклад представляет главный редактор журнала «Полис» Сергей Владиславович Чугров.